

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ СЛИШКОМ ЯСНО

ШПЕТНАЯ НАТАЛЬЯ



Наталья Шпетная

**Человек, который видел слишком
ясно. Повесть о Ги де Мопассане**

«Автор»

2026

Шпетная Н. К.

Человек, который видел слишком ясно. Повесть о Ги де Мопассане
/ Н. К. Шпетная — «Автор», 2026

Ги де Мопассан — писатель, превративший человеческую слабость, лицемерие и страх в искусство короткой прозы. Эта повесть прослеживает его путь от ветреной Нормандии и первых уроков у Флобера до парижской славы, морских путешествий, литературных триумфов и мучительной борьбы с болезнью. Перед читателем — живой, противоречивый человек: язвительный и ранимый, чувственный и одинокий, внимательный к чужим судьбам и беззащитный перед собственной. В его памяти оживают мать, Флобер, Тургенев, Золя, редакции газет, военные дороги, женщины, море и герои будущих рассказов. Это история таланта, который слишком ясно видел людей — и однажды оказался вынужден всматриваться в собственную тьму.

© Шпетная Н. К., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ СЛИШКОМ ЯСНО. ПОВЕСТЬ О ГИ ДЕ МОПАССАНЕ	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТЕНЬ НА БЕЛОЙ СТЕНЕ	5
I. Ночь в Каннах	5
II. Мать и море	7
III. Флобер за столом	9
IV. Дилижанс	11
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Наталья Шпетная

Человек, который видел слишком ясно. Повесть о Ги де Мопассане

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ СЛИШКОМ ЯСНО. ПОВЕСТЬ О ГИ ДЕ МОПАССАНЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТЕНЬ НА БЕЛОЙ СТЕНЕ

I. Ночь в Каннах

В ту ночь Средиземное море было неподвижно, словно кто-то положил на землю огромное тёмное зеркало и приказал волнам молчать.

В доме на окраине Канн, где окна ещё недавно распахивались навстречу солнцу, апельсиновым деревьям и запаху соли, теперь было душно. Зима на юге Франции умела притворяться милосердной: днём она улыбалась золотом, а ночью подкрадывалась к больному человеку холодной ладонью и касалась виска.

Ги де Мопассан не спал.

Он уже давно не спал так, как спят здоровые люди: доверчиво, безоружно, отдавая тело темноте. Его сон был похож на перемирие, заключённое с врагом, который не собирался соблюдать условий. Иногда он засыпал внезапно, прямо в кресле, со сжатыми пальцами, а через час вскакивал, уверенный, что в комнате кто-то есть.

В эту ночь кто-то действительно был.

По крайней мере, так казалось ему.

На белой стене, напротив кровати, лежала тень. Она не принадлежала ни лампе, ни шторе, ни мебели. Она была слишком собранной, слишком терпеливой. Мопассан смотрел на неё и чувствовал, как в нём поднимается не страх даже, а раздражение. Страх он знал. Страх был простоват, как провинциальный нотариус. А это было другое – навязчивое присутствие, насмешка, вторжение.

– Вы опять пришли? – сказал он тихо.

В соседней комнате скрипнул пол.

Слуга, Франсуа, вероятно, не спал. Последние недели он ходил по дому так осторожно, будто служил не писателю, а мине. Впрочем, это было недалеко от истины. Хозяин то смеялся, то молчал часами, то принимался писать с лихорадочной быстротой, то вдруг объявлял, что за ним следят. Он жаловался на глаза, на голову, на запахи, на невидимых посетителей. Иногда был прежним: метким, колким, почти весёлым. И от этого становилось ещё страшнее.

На столе лежали листы. Одни исписанные, другие разорванные. Чернила высохли в перьях. Рядом стоял стакан с водой, пузырёк лекарства, бронзовая пепельница, в которой окурки сигар напоминали обгоревшие кости.

Мопассан поднялся.

Ему было сорок один. Возраст, когда иной буржуа только начинает с удовольствием округляться, наращивать подбородок, капитал и убеждение в собственной значительности.

Мопассан же казался человеком, которого с двух сторон тянули разные силы: плоть ещё помнила лодки, женщин, верховую езду, греблю, обеды, смех, морской ветер; лицо уже знало усталость, которую не скроешь ни усами, ни хорошим портным.

Он подошёл к зеркалу.

Оттуда на него смотрел господин с внимательными глазами и выражением человека, который слишком долго наблюдал за другими и однажды обнаружил, что сам стал объектом наблюдения.

– Ну? – спросил он отражение. – Что вы ещё хотите написать?

Отражение, как и все критики, не ответило.

Он усмехнулся. В этой усмешке оставался прежний Мопассан – ученик Флобера, охотник за человеческой глупостью, человек, способный одним словом проколоть напыщенность целого салона. Но усмешка быстро исчезла.

Тень на стене дрогнула.

Он повернулся резко.

Ничего.

Впрочем, именно это «ничего» и было самым невыносимым. Человек легче переносит врага, чем пустоту, которая ведёт себя как враг.

Мопассан сделал несколько шагов по комнате. Под ногами мягко пружинил ковёр. За окном темнели деревья. Где-то вдалеке, у берега, звякнула цепь – может быть, на лодке, может быть, в его памяти.

Лодка.

Море.

Нормандия.

Сена.

Флобер.

Мать.

Война.

Толстая девка из руанского дилижанса, которую он когда-то увидел не глазами, а всей своей ненавистью к лицемерам.

Все они стояли теперь за его спиной – не тени, нет, скорее свидетели. Жизнь, если смотреть на неё из конца, оказывается не дорогой, а залом суда. Каждое лицо вызывают снова. Каждую фразу требуют повторить.

Он подошёл к столу и взял один лист.

На нём было начато:

«Я вошёл в литературу, как входят в воду: с наслаждением, с дерзостью и не зная, какая там глубина...»

Он перечитал и поморщился.

– Слишком красиво, – сказал он. – Флобер бы зачеркнул.

В эту минуту дверь осторожно приотворилась.

– Месье? – прошептал Франсуа.

– Что?

– Вам нехорошо?

– Мне? – Мопассан обернулся. – Напротив. Мне так хорошо, что это становится неприличным.

Франсуа стоял в ночной рубашке и накинутой куртке. Лицо его было мятое, встревоженное, преданное. Он служил Мопассану не первый год и давно усвоил: с хозяином нельзя говорить как с больным, пока тот сам не позволит. Надо было сохранять видимость обычной жизни – подавать кофе, седлать лошадь, принимать письма, говорить о погоде, будто на свете действительно существовала погода, а не только боль.

– Может быть, вам принести чего-нибудь? – спросил он.

– Принесите мне, Франсуа, лет двадцать сна.

Слуга молчал.

– Нет? Тогда коньяку.

– Доктор запретил.

– Доктора, мой милый, запрещают всё, что делает жизнь терпимой, и предписывают всё, что делает её длинной. В этом их профессиональная подлость.

Франсуа не улыбнулся.

Мопассан посмотрел на него внимательнее и вдруг устал от собственного остроумия.

– Ладно. Идите спать.

– Я останусь за дверью.

– Как хотите. Только не храпите трагически.

Дверь закрылась.

Писатель снова сел за стол. Рука его дрожала, но он взял перо.

Он не хотел умирать молча. Это казалось ему дурным вкусом. Смерть и так слишком самоуверенна; незачем отдавать ей последнее слово без борьбы. Но о чём писать? О себе? Он всегда презирал людей, которые, едва научившись страдать, принимались считать своё страдание литературным событием.

Однако его жизнь принадлежала уже не только ему. Она разошлась по книгам. Он отдал людям своих крестьян, проституток, чиновников, солдат, любовников, мужей-рогоносцев, барынь, скряг, безумцев, детей, стариков, парижских хищников и нормандских упрямцев. Он раздал им всем куски своей памяти. Теперь память требовала расчёта.

За окном слабо посерел край неба.

Мопассан наклонился и написал:

«Всё началось не в Париже. Париж только умеет присваивать чужие начала. Всё началось там, где море каждый день объясняло земле, что постоянство – выдумка нотариусов...»

Он остановился.

И увидел – не комнату в Каннах, не лампу, не испуганного слугу за дверью, – а высокий нормандский берег, ветреное небо, мальчика, бегущего по влажной траве, и женщину, которая смотрит ему вслед с любовью столь сильной, что в ней уже есть угроза.

II. Мать и море

В Нормандии ветер воспитывает лучше гувернёров.

Он не объясняет, не морализирует, не обещает наград за прилежание. Он просто бьёт в лицо, треплет волосы, выворачивает зонты, гонит облака, заставляет деревья расти косо и рано внушает человеку мысль: мир не создан для твоего удобства.

Ги любил этот ветер.

В детстве ему казалось, что море – единственный взрослый, которому можно верить. Люди притворялись. Отец говорил одно, мать думала другое, соседи скрывали зависть под любезностью, священники – любопытство под благочестием, а море не лгало. Если оно было сердито – ревело. Если спокойно – сияло. Если хотело взять лодку – брало, не читая перед этим нравоучений.

Его мать, Лора, понимала это почти так же хорошо, как он.

Она была из тех женщин, которых провинция сперва не прощает, потом боится, а после смерти начинает уважать, потому что уважать мёртвых безопаснее. Умная, гордая, нервная, с воображением, с памятью, полной книг, она не была создана для тихого супружеского счастья,

где жена должна сиять за обедом, молчать при гостях и рожать детей с регулярностью почтовой службы.

Лора любила литературу не как украшение ума, а как воздух. Её брат, Альфред Ле Пуатвен, когда-то дружил с Гюставом Флобером, и это имя в доме звучало не как имя человека, а как знак особой породы: тех, кто не удовлетворяется жизнью, пока не пересоздаст её словами.

Отец Ги, Гюстав де Мопассан, был человеком иного склада. Не злодей, нет. Злодеи встречаются реже, чем принято думать, зато куда чаще встречаются люди, умеющие причинять несчастье изящно, легко и даже не замечая этого. Он любил удовольствия, общество, женское внимание, удобства, приличия. В нём было достаточно обаяния, чтобы его простили за слабости, и недостаточно глубины, чтобы эти слабости стали трагедией для него самого. Трагедией они становились для других.

Ги рано усвоил: семья – это не идиллия, а театр, где все знают пьесу, но каждый играет свою редакцию.

Однажды, когда ему было лет двенадцать, он застал мать у окна. Она держала письмо. Бумага дрожала в её пальцах, хотя лицо оставалось неподвижным.

– Мама, тебе холодно?

Она вздрогнула, потом улыбнулась.

– Нет, мой волчонок. Просто люди иногда пишат хуже, чем поступают. А это, согласишься, уже достижение.

– Это отец?

– Ты слишком наблюдателен.

– Это плохо?

– Для счастья – да. Для литературы – возможно, нет.

Он подошёл к ней и посмотрел в окно. В саду мокли деревья. За ними серело небо. Казалось, весь мир был сделан из воды и терпения.

– Я не хочу быть счастливым, если для этого надо быть глупым, – сказал Ги.

Лора повернулась к нему. В её взгляде вспыхнуло что-то тревожное: гордость и страх одновременно.

– Не торопись с такими заявлениями. Жизнь любит записывать наши юношеские фразы и предъявлять их потом с процентами.

Он запомнил эту фразу.

Лора учила его не только читать, но и видеть. Она не говорила: «Этот человек дурен» или «эта женщина смешна». Она задавала вопросы.

– Почему, по-твоему, мадам Дюфур так громко смеётся, когда входит её муж?

– Потому что он ревнив?

– Или потому что она хочет, чтобы все думали, будто ей нечего скрывать.

– А месье Леконт всегда говорит о чести.

– Значит, либо он честен, либо боится, что кто-нибудь спросит о его счетах.

– Мама, ты ужасная.

– Нет, дорогой. Я просто слушаю людей, когда они думают, что говорят.

Так мальчик начал понимать: за каждым жестом прячется второй жест, за каждой фразой – другая фраза, не произнесённая. Он ещё не знал, что это станет его даром и пыткой. Пока это было игрой. Мир раскрывался перед ним как раковина, в которой вместо жемчужины часто оказывался песок, но какой выразительный песок!

В семинарии, куда его отдали, он быстро возненавидел порядок, благочестивую скуку и запах лицемерия, который не перебивал даже ладан. Он был крепок, насмешлив, упрям. Священники видели в нём испорченного мальчика. Он в них – людей, которые слишком много говорят о небесах и слишком пристально следят за земными проступками воспитанников.

Там он впервые испытал наслаждение запретным словом.

Не грубостью, нет. Грубость слишком проста. Его привлекала точная насмешка, маленькое лезвие фразы. Он сочинял стишки, эпиграммы, пародии. Одни однокашники хохотали, другие доносили. Начальство сердилось с той особой торжественностью, какую люди приобретают, когда защищают не мораль, а собственную важность.

После одного скандала Лора приехала за ним.

Ректор говорил долго. Он употреблял слова «нравственное направление», «опасные склонности», «непокорность», «будущее молодого человека». Ги стоял у окна и смотрел, как воробей скачет по карнизу. Воробей был единственным существом в комнате, не притворявшимся оскорблённым.

– Ваш сын, мадам, – сказал наконец ректор, – обладает умом, но ум этот направлен разрушительно.

Лора подняла брови.

– Разрушительно для чего именно, отец?

Ректор замаялся.

– Для дисциплины.

– Ах, для дисциплины. Я испугалась, что для Франции.

Ги опустил голову, чтобы скрыть улыбку.

В экипаже мать долго молчала. Потом сказала:

– Ты доволен?

– Не очень. Я надеялся, что он лопнет.

– Это было бы эффектно, но неудобно для уборки.

Они оба рассмеялись.

Смех этот остался в его памяти: колёса по грязной дороге, запах мокрой кожи, мать рядом, свобода впереди. Тогда ему казалось, что из всякого заточения можно уехать в экипаже, если только найдётся умная женщина, которая подпишет бумаги.

Позднее он узнал: из некоторых тюрем вывозят только в молчании.

III. Флобер за столом

Флобер не входил в комнату – он её занимал.

Когда Ги впервые увидел его по-настоящему, не как имя из материнских воспоминаний, а как живого человека, ему показалось, что перед ним не писатель, а старый нормандский дуб, каким-то недоразумением обросший халатом, усами и литературными теориями.

В Круассе, у Сены, дом Флобера стоял так, будто давно устал от гостей, писем, восторгов, долгов, критиков, болезней и всё-таки продолжал держаться из упрямства. В этом доме пахло табаком, бумагой, рекой и одинокой работой. Здесь литература не была развлечением салона; она была каторгой, религией и болезнью сразу.

Флобер принял Ги с ворчливой нежностью, на какую способны старые друзья семьи, видящие в молодом человеке одновременно наследника, опасность и повод для раздражения.

– Значит, ты сын Лоры, – сказал он, оглядев юношу. – Похож. Глаза слишком внимательные. Это вредно.

– Мама говорит, это может пригодиться.

– Матери говорят много опасных вещей. Особенно умные матери.

Флобер указал на стул.

– Садись. Ты пишешь?

– Немного.

– Это уже плохо. «Немного» писать нельзя. Либо не пиши совсем – будешь счастливее, толще и, вероятно, богаче. Либо пиши так, будто каждое слово надо вытащить из собственной печени.

Ги сел.

Флобер ходил по комнате большими шагами. Его халат развевался, как знамя частной войны против глупости. На столе лежали листы, испещрённые поправками. Некоторые строки были зачёркнуты так яростно, будто совершили преступление.

– Прочти, – сказал Флобер.

Ги достал из кармана рукопись. Это был маленький рассказ – старательный, наблюдательный, местами остроумный, местами украшенный теми красотами, которые молодые авторы принимают за стиль, как юнцы принимают запах одеколона за мужественность.

Он начал читать.

Флобер слушал, закрыв глаза.

Иногда он морщился.

Иногда стонал.

Один раз сказал:

– Господи.

Ги остановился.

– Продолжать?

– Разумеется. Казнь должна быть полной.

Когда чтение закончилось, Флобер открыл глаза.

– Ну? – спросил Ги, стараясь держаться спокойно.

– У тебя есть зрение.

– Это хорошо?

– Это недостаточно. У коровы тоже есть зрение. Вопрос в том, что она с ним делает.

Ги покраснел.

Флобер взял рукопись.

– Вот здесь ты пишешь: «Прекрасный закат окрасил небо багрянцем». Убей это.

– Почему?

– Потому что это написал уже каждый нотариус, когда пытался соблазнить кузину. Закат не бывает «прекрасным» в литературе. Он либо нужен, либо вон из комнаты. Что именно видел твой герой? Какой багрянец? Кровь? Кирпич? Гнилую сливу? Щёку пьяницы? Найди единственное слово. Единственное! Понимаешь?

– Понимаю.

– Нет. Пока нет. Но если будешь страдать, поймёшь.

Он прошёлся, потом неожиданно смягчился.

– Послушай, малыш. Мир переполнен людьми, которые пишут, потому что им есть что сказать. Это несчастье. Писать надо тогда, когда ты уже не можешь иначе увидеть то, что увидел. Фраза должна быть точной, как удар ножом, и естественной, как дыхание. Никакой музыки ради музыки. Никаких «прекрасных закатов». Никакой лжи, даже красивой.

– А если правда некрасива?

Флобер рассмеялся.

– Тем лучше. Красивую правду любят дамы. Некрасивую – искусство.

Он вернул рукопись.

– Наблюдай. Не спеши печататься. И не верь успеху. Успех – это когда многие ошибаются одновременно.

С того дня Флобер стал для Ги не учителем в школьном смысле, а чем-то более суровым: мерой. Он не учил сюжетам, не давал рецептов. Он учил ненавидеть приблизительность. Он мог полчаса говорить о запятой так, будто от неё зависела судьба империи; мог прийти в ярость

из-за эпитета; мог с нежностью вспоминать дураков, которых презирал, потому что дураки, если смотреть внимательно, были бесконечно разнообразны.

В доме Флобера Ги встретил людей, чьи имена уже тогда звучали весомо или начинали звучать. Тургенев, высокий, мягкий, с печалью в лице и удивительной деликатностью, казался человеком, который из вежливости даже страдает негромко. Золя был собраннее, упорнее, с взглядом строителя, который видит перед собой не комнату, а целый квартал будущих романов. Доде приносил южную живость, нервный блеск, грацию больного артиста.

Ги слушал их и учился не только литературе, но и тому, как по-разному люди носят свой талант.

Однажды за обедом разговор зашёл о публике.

– Публика, – сказал Флобер, отрезая мясо, – это огромное животное, которое хочет, чтобы его чесали там, где оно привыкло.

– Но животное покупает книги, – заметил кто-то.

– Тем хуже для книг.

Тургенев улыбнулся.

– Всё же, дорогой друг, иногда это животное плачет над тем, что прекрасно.

– Плачет оно чаще над тем, что узнаёт себя польщённым, – буркнул Флобер. – Человек охотно любит зеркалом, если зеркало врёт в его пользу.

Ги вмешался:

– А если зеркало говорит правду?

Флобер посмотрел на него.

– Тогда его разбивают или называют великим писателем. Иногда и то и другое, но в разном порядке.

Все засмеялись.

Ги тоже улыбнулся, но фраза застряла в нём.

Зеркало.

Он ещё не знал, как часто будет возвращаться к этому образу. Человек перед зеркалом. Общество перед зеркалом. Писатель перед зеркалом. И однажды – зеркало, которое начинает отражать не лицо, а страх.

Флобер требовал от него терпения.

– Пиши стихи, если хочешь испортить юность, – говорил он. – Пиши прозу, если готов испортить жизнь.

Ги всё же писал стихи. Молодость должна совершить несколько глупостей, иначе в старости ей нечего будет презирать. Но постепенно он чувствовал: его настоящий материал не в возвышенных чувствах, а в земле, поте, похоти, деньгах, страхе, самодовольстве, внезапной нежности, бытовой жестокости, маленьких предательствах, случайных добродетелях. Его тянуло к людям не исключительным, а обыкновенным – потому что именно в обыкновенных, если взглядеться, пряталось чудовищное.

Потом пришла война.

Она пришла, как всегда приходят большие исторические бедствия: с газетной риторикой, самоуверенностью штабов, разговорами о чести, пением, флагами и полным неведением тех, кто будет лежать в грязи.

IV. Дилижанс

Франко-прусская война сделала Францию некрасивой.

Не Францию полей, рек, соборов и рынков – та оставалась собой, хотя по ней прошли сапоги. Некрасивой стала Франция слов: величавые фразы осели, как плохо взбитый крем.

Обнаружилось, что империя, ещё вчера такая блестящая, внутри была набита трухой, страхом, бюрократической глупостью и офицерскими усами.

Ги служил, видел отступление, беспорядок, унижение, растерянных солдат, обозы, холод, голод и ту особую мерзость поражения, когда люди сперва кричат о родине, а потом ищут, где бы спрятать собственную шкуру подальше от родины.

Он запомнил не сражения – сражения часто описывают те, кто любит барабаны больше людей. Он запомнил лица.

Лицо крестьянина, который смотрел на проходящий отряд не с патриотическим воодушевлением, а с хозяйственным ужасом: сколько вытопчут, сколько заберут, сколько сожгут?

Лицо молодого солдата, умершего не героически, а удивлённо, будто смерть нарушила какое-то простое обещание.

Лицо офицера, требовавшего дисциплины голосом человека, который сам давно потерял внутренний порядок.

Лицо женщины у окна в оккупированном городе: неподвижное, белое, не испуганное – оценивающее. Женщины во время войны быстрее мужчин понимают цену словам.

Руан под пруссаками был городом, научившимся говорить тише. Чужая власть меняет даже звук шагов. На улицах стало больше осторожности. В лавках торговали. В гостиных негодовали. За закрытыми дверями приспособливались. Патриотизм, как и всякая добродетель, оказался распределён неравномерно: у одних он был в сердце, у других – в тостах.

Именно тогда в памяти Мопассана возник тот дилижанс, который много лет спустя повезёт в литературу его славу.

Он ехал не один. Вернее, настоящий дилижанс, настоящие люди, настоящая зима и настоящая оккупация – всё это было частью множества впечатлений, слухов, рассказов, лиц, интонаций. Но литература не фотографирует жизнь; она дожидается, пока разные правды сольются в одну, более точную, чем протокол.

В промёрзшей дороге, среди буржуа, монахинь, торговцев, приличных дам и одной женщины с сомнительной репутацией, Мопассан увидел Францию в миниатюре. Точнее – не Францию, а общество, которое умеет презирать грешницу до тех пор, пока не нуждается в её жертве.

Он тогда ещё не написал «Пышку». Но она уже где-то существовала.

Она сидела в углу его памяти, круглая, добрая, чувственная, смешная и достойная большего уважения, чем все эти люди с чистыми перчатками и грязными душами. Она ждала своего часа, как ждут женщины, привыкшие, что мужчины сначала торгуются, потом благодарят, потом стыдятся благодарности и начинают презирать ещё сильнее.

После войны Париж казался одновременно уцелевшим и испорченным.

Город быстро возвращал себе блеск. Париж вообще обладал неприличным талантом приходить в себя после катастроф так, будто катастрофы были частью его туалета. Бульвары снова наполнялись экипажами. Кафе гудели. Газеты спорили. Женщины носили траур с таким вкусом, что траур начинал выглядеть модным направлением. Мужчины говорили о политике, повышая голос там, где не хватало мысли.

Ги поступил на службу.

Сначала в Морское министерство, потом в Министерство народного просвещения. Чиновничья жизнь – это особый вид медленной смерти, при котором человека ежедневно хоронят под бумагами, но вечером отпускают домой, чтобы завтра он сам явился в могилу.

В канцелярии пахло чернилами, пылью, мокрыми пальто, карьерой и безнадёжностью.

Сослуживцы Мопассана были людьми не хуже других, что, если разобраться, уже достаточно плохо. Один собирал сплетни с аккуратностью архивариуса. Другой писал докладные записки так, будто каждая могла спасти цивилизацию. Третий всю жизнь ожидал повышения и от этого стал похож на человека, ожидающего поезд на станции, где давно разобрали рельсы.

– Мопассан, – говорил начальник отдела, месье Леруа, – вы опять опоздали.

- Простите, месье. Сена сегодня текла особенно медленно, я не хотел её обгонять.
- Это шутка?
- Боюсь, да.
- В министерстве, сударь, шутки неуместны.
- Зато бумаги здесь чувствуют себя превосходно.

Месье Леруа смотрел на него с подозрением. В чиновничьем мире остроумие считается разновидностью неповиновения.

Ги писал циркуляры, переписывал документы, составлял отчёты. Его тело сидело за столом; ум охотился. Он наблюдал походки, манеру откашляться перед начальником, дрожь пальцев у просителя, ложную важность мелких распоряжений, усталость бедных служащих, мечтающих не о счастье, а о пенсии.

По воскресеньям он грёб на Сене.

Вот там он оживал.

Лодка скользила по воде, мышцы работали, лёгкие раскрывались, ветер срывал с него запах канцелярии. На берегах мелькали прачки, рыбаки, дачники, женщины в светлых платьях, трактиры с вывесками, дешёвое вино, грубый смех. Он любил этот мир телесно, без философии. Здесь люди были смешны, жадны, добры, похотливы, глупы, прекрасны – и всё это без предисловий.

Иногда вечером, вернувшись, он садился писать.

Но всякий раз слышал голос Флобера:

Не спеши.

Он не спешил, хотя честолюбие кусало его. Молодой писатель без публикации похож на любовника, которому велели доказывать страсть молчанием.

Он носил Флоберу рассказы. Тот читал, ругал, правил, отвергал.

– Лучше, – говорил он иногда.

Это «лучше» стоило Ги больше, чем восторги десятка знакомых дам.

– Когда же мне печататься? – спросил он однажды.

Флобер поднял на него тяжёлый взгляд.

– Когда будешь готов вынести похвалу.

– Не критику?

– Критика полезна, если она не глупа, а если глупа – развлекает. Похвала опаснее. Она гладит автора по тому месту, где у него должна быть совесть.

Но в конце концов пришёл час.

Золя собирал сборник рассказов о войне. Компания была сильная: писатели, уже известные, уже уверенные в своём месте за столом литературы. Мопассан дал «Пышку».

Флобер прочёл.

Долго молчал.

Ги стоял у окна. Ему казалось, что старик нарочно тянет время, чтобы испытать его нервы. Наконец Флобер ударил ладонью по столу.

– Шедевр.

Ги обернулся.

– Вы смеётесь?

– Я смеюсь редко и преимущественно над человечеством. Это – шедевр, слышишь? Настоящий. Плотный, ясный, жестокий, без лишнего жира. Ты наконец перестал украшать правду и дал ей идти босиком.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.